

ИВАН ТУРГЕНЕВ

МУМУ. ЗАПИСКИ
ОХОТНИКА (СБОРНИК)

Школьное чтение (АСТ)

Иван Тургенев

Муму. Записки охотника (сборник)

«Public Domain»

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Тургенев И. С.

Муму. Записки охотника (сборник) / И. С. Тургенев — «Public Domain», — (Школьное чтение (АСТ))

ISBN 978-5-17-103735-2

В книгу вошли рассказ «Муму» и «Записки охотника» И.С. Тургенева. Рассказ «Муму» основан на реальных событиях, которые происходили в доме матери писателя. Дворник Герасим, человек богатырского сложения, глухонемой от рождения, усерден и исполнительен в работе. Нелегкая судьба и крах любви не озлобили его сердце. Герасим спасает свалившегося в воду щенка, приносит домой и дает кличку Муму (это слово он может произнести). Подростящая собачка доверчива и ласкова со всеми, а вот с барыней она не сдружилась. Барыня велит прогнать собаку. Герасим выполняет приказ... «Записки охотника» – цикл рассказов из жизни мелкопоместного дворянства и помещиков, их крепостных и свободных крестьян, о быте и об обычаях, о нравах и характерах, о любви и обмане и, конечно, о красоте природы России.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-17-103735-2

© Тургенев И. С.
© Public Domain

Содержание

Муму	5
Записки охотника	20
Хорь и Калиныч	20
Малиновая вода	27
Уездный лекарь	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Иван Сергеевич Тургенев

Муму. Записки охотника

Муму

В одной из отдалённых улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолю и покрывившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окружённая многочисленною дворней. Сыновья её служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединённо доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День её, нерадостный и ненастный, давно прошёл; но и вечер её был чернее ночи.

Из числа всей её челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырём и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошадёнки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой берёзовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трёхаршинным цепом, и, как рычаг, опускались и поднимались продолговатые и твёрдые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж... Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.

Крепко не полюбилось ему сначала его новое житьё. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчуждённый несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растёт на плодородной земле... Переселённый в город, он не понимал, что с ним такое делается, – скучал и недоумевал, как недоумевает молодой, здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, взяли, поставили на вагон железной дороги – и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат – бог весть! Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ; в полчаса всё у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью. Дела у него было немного; вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом – и не только телегу, самоё лошадь спихнёт с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчёт чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его; даже днём проходившие, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в

отношениях не то чтобы приятельских – они его побаивались, – а коротких: он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолье. Вообще Герасим был нрава строгого и серьёзного, любил во всём порядок; даже петухи при нём не смели драться – а то беда! Увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку; он устроил её себе сам, по своему вкусу: соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырёх чурбанах – истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на неё – не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика – стул на трёх ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнётся. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только чёрный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.

Так прошёл год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие.

Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всём следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную; в доме у неё находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, – был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и не оценённым по достоинству человеком, образованным и столичным, которому не в Москве бы жить, без дела, в каком-то захолустье, и если пил, как он сам выражался, с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нём речь у барыни с её главным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его жёлтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице.

– А что, Гаврила, – заговорила вдруг она, не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, он остепенится.

– Отчего же не женить-с! Можно-с, – ответил Гаврила, – и очень даже будет хорошо-с.

– Да, только кто за него пойдёт?

– Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Всё же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен; из десятка его не выкинешь.

– Кажется, ему Татьяна нравится?

Гаврила хотел было что-то возразить, да сжал губы.

– Да!.. пусть посватает Татьяну, – решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок, – слышишь?

– Слушаю-с, – произнёс Гаврила и удалился.

Возвратясь в свою комнату (она находилась во флигеле и была почти вся загромождена коваными сундуками), Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец, он встал и велел кликнуть Капитона. Капитон явился... Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем нелишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось Капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого.

Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки (впрочем, ей, как искусной и учёной прачке, поручалось одно тонкое бельё), была женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой – предвещанием несчастной жизни... Татьяна не могла похвалиться

своей участью. С ранней молодости её держали в чёрном теле; работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала; одевали её плохо, жалованье она получала самое маленькое; родни у ней всё равно что не было: один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей, да другие дядья у ней в мужиках состояли – вот и всё. Когда-то она слыла красавицей, но красота с неё очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смиренного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та её почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры, всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробежать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на неё особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на неё начал, наконец и вовсе глаз с неё не спускал. Полюбилась она ему; кротким ли выражением лица, робостью ли движений – бог его знает! Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную барынину кофту... кто-то вдруг сильно схватил её за локоть; она обернулась и так и вскрикнула: за ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошёл прочь и, обернувшись, ещё раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя: куда, бывало, она ни пойдёт, он уж тут как тут, идёт ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника; насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались: он шуток не любил; да и её при нём оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись. Однажды за обедом кастелянша, начальница Татьяны, принялась её, как говорится, шпынять и до того её довела, что та, бедная, не знала куда глаза деть и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил её на голову кастелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой чёрт, леший!» – пробормотали все вполголоса, а кастелянша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что Капитон, тот самый Капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалякался с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвёл в каретный сарай да, ухватив за конец стоявшее в углу дышло, слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И всё это ему сходило с рук. Правда, кастелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима; но причудливая старуха только рассмеялась несколько раз, к крайнему оскорблению кастелянши, заставила её повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжёлой ручкой, и на другой день выслала Герасиму целковый. Она его жаловала как верного и сильного сторожа. Герасим порядком её побаивался, но всё-таки надеялся на её милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтоб в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона.

Читатель теперь легко сам поймёт причину смущения, овладевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой. «Госпожа, – думал он, посиживая у окна, – конечно, жалует Герасима (Гавриле хорошо это было известно, и оттого он сам ему потакал), всё же он существо бессловесное; не доложить же госпоже, что вот Герасим, мол, за Татьяной ухаживает. Да и

наконец, оно и справедливо, какой он муж? А с другой стороны, стоит этому, прости господи, лешему узнать, что Татьяну выдают за Капитона, ведь он всё в доме переломает, ей-ей. Ведь с ним не столкнешь; ведь его, чёрта этакого, согрешил я, грешный, никаким способом не уломаешь... право!..»

Появление Капитона прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошёл, закинул руки назад и, развязно прислонясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку крестообразно перед левой и встряхнул головой. «Вот, мол, я. Чего вам потребно?»

Гаврила посмотрел на Капитона и застучал пальцами по косяку окна. Капитон только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их, даже усмехнулся слегка и провёл рукой по своим белесоватым волосам, которые так и ерошились во все стороны. Ну да, я, мол, я. Чего глядишь?

– Хорош, – проговорил Гаврила и помолчал. – Хорош, нечего сказать!

Капитон только плечиками передёрнул. «А ты небось лучше?» – подумал он про себя.

– Ну, посмотри на себя, ну, посмотри, – продолжал с укоризной Гаврила, – ну, на кого ты похож?

Капитон окинул спокойным взором свой истасканный и оборванный сюртук, свои запла-танные панталоны, с особенным вниманием осмотрел он свои дырявые сапоги, особенно тот, о носок которого так щеголевато опиралась его правая ножка, и снова уставился на дворецкого.

– А что-с?

– Что-с? – повторил Гаврила. – Что-с? Ещё ты говоришь: что-с? На чёрта ты похож, согрешил я, грешный, вот на кого ты похож.

Капитон проворно замигал глазками.

«Ругайтесь, мол, ругайтесь, Гаврила Андреич», – подумал он опять про себя.

– Ведь вот ты опять пьян был, – начал Гаврила, – ведь опять? А? ну, отвечай же.

– По слабости здоровья спиртным напиткам подвергался действительно, – возразил Капитон.

– По слабости здоровья!.. Мало тебя наказывают – вот что; а в Питере ещё был в ученье... Многому ты выучился в ученье! Только хлеб даром ешь.

– В этом случае, Гаврила Андреич, один мне судья сам Господь Бог – и больше никого. Тот один знает, каков я человек на сём свете суть и точно ли даром хлеб ем. А что касается в соображении до пьянства – то и в этом случае виноват не я, а более один товарищ; сам же меня он сманул, да и сполитиковал, ушёл то есть, а я...

– А ты остался, гусь, на улице. Ах ты, забубённый человек! Ну да дело не в том, – продолжал дворецкий, – а вот что. Барыне... – тут он помолчал, – барыне угодно, чтоб ты женился. Слышишь? Оне полагают, что ты остепенишься, женившись. Понимаешь?

– Как не понимать-с.

– Ну, да. По-моему, лучше бы тебя хорошенько в руки взять. Ну, да это уж их дело. Что ж? ты согласен?

Капитон ослабился.

– Женильба дело хорошее для человека, Гаврила Андреич; и я, с своей стороны, с очень моим приятным удовольствием.

– Ну, да, – возразил Гаврила и подумал про себя: «Нечего сказать, аккуратно говорит человек». – Только вот что, – продолжал он вслух, – невесту-то тебе приискали неладную.

– А какую, позвольте полюбопытствовать?..

– Татьяну.

– Татьяну?

И Капитон вытаращил глаза и отделился от стены.

– Ну, чего ж ты всполохнулся?.. Разве она тебе не по нраву?

– Какое не по нраву, Гаврила Андреич! Девка она ничего, работница, смиренная девка... Да ведь вы сами знаете, Гаврила Андреич, ведь тот-то леший, кикимора-то степная, ведь он за ней...

– Знаю, брат, всё знаю, – с досадой прервал его дворецкий, – да ведь...

– Да помилуйте, Гаврила Андреич, ведь он меня убьёт, ей-богу, убьёт, как муху какую-нибудь прихлопнет; ведь у него рука, ведь вы изволите сами посмотреть, что у него за рука; ведь у него просто Минина и Пожарского рука. Ведь он глухой, бьёт и не слышит, как бьёт! Словно во сне кулачищами махает. И унять его нет никакой возможности; почему? Потому, вы сами знаете, Гаврила Андреич, он глух и вдобавку глуп, как пятка. Ведь это какой-то зверь, идол, Гаврила Андреич, – хуже идола... осина какая-то; за что же я теперь от него страдать должен? Конечно, мне уже теперь всё нипочём: обдержался, обтерпелся человек, обмаслился, как коломенский горшок, – всё же я, однако, человек, а не какой-нибудь, в самом деле, ничтожный горшок.

– Знаю, знаю, не расписывай...

– Господи боже мой! – с жаром продолжал башмачник. – Когда же конец? Когда, господи! Горемыка я, горемыка неисконная! Судьба-то, судьба-то моя, подумаешь! В младых летах был я бит через немца-хозяина, в лучший сустав жизни моей бит от своего же брата, наконец в зрелые годы вот до чего дослужился...

– Эх ты, мочальная душа, – проговорил Гаврила. – Чего распространяешься, право!

– Как чего, Гаврила Андреич! Не побоев я боюсь, Гаврила Андреич. Накажи меня господин в стенах да подай мне при людях приветствие, и всё я в числе человек, а тут ведь от кого приходится...

– Ну, пошёл вон, – нетерпеливо перебил его Гаврила.

Капитон отвернулся и поплёлся вон.

– А положим, его бы не было, – крикнул ему вслед дворецкий, – ты-то сам согласен?

– Изъявляю, – возразил Капитон и удалился.

Красноречие не покидало его даже в крайних случаях.

Дворецкий несколько раз прошёлся по комнате.

– Ну, позовите теперь Татьяну, – промолвил он наконец.

Через несколько мгновений Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у порога.

– Что прикажете, Гаврила Андреич? – проговорила она тихим голосом.

Дворецкий пристально посмотрел на неё.

– Ну, – промолвил он, – Танюша, хочешь замуж идти? Барыня тебе жениха сыскала.

– Слушаю, Гаврила Андреич. А кого они мне в женихи назначают? – прибавила она с нерешительностью.

– Капитона, башмачника.

– Слушаю-с.

– Он легкомысленный человек – это точно. Но госпожа в этом случае на тебя надеется.

– Слушаю-с.

– Одна беда... ведь этот глухарь-то, Гараська, он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого медведя к себе приворожила? А ведь он убьёт тебя, пожалуй, медведь этакой...

– Убьёт, Гаврила Андреич, бесприменно убьёт.

– Убьёт... Ну, это мы увидим. Как это ты говоришь: убьёт! Разве он имеет право тебя убивать, посуди сама.

– А не знаю, Гаврила Андреич, имеет ли, нет ли.

– Экая! ведь ты ему этак ничего не обещала...

– Чего изволите-с?

Дворецкий помолчал и подумал:

«Безответная ты душа!»

– Ну, хорошо, – прибавил он, – мы ещё поговорим с тобой, а теперь ступай, Танюша; я вижу, ты точно смиренница.

Татьяна повернулась, опёрлась легонько о притолоку и ушла.

«А может быть, барыня-то завтра и забудет об этой свадьбе, – подумал дворецкий, – я-то из чего растревожился? Озорника-то мы этого скрутим; коли что – в полицию знать дадим...»

– Устинья Фёдоровна! – крикнул он громким голосом своей жене. – Поставьте-ка самоварчик, моя почтенная...

Татьяна почти весь тот день не выходила из прачечной. Сперва она всплакнула, потом утёрла слёзы и принялась по-прежнему за работу. Капитон до самой поздней ночи просидел в заведении с каким-то приятелем мрачного вида и подробно ему рассказал, как он в Питере проживал у одного барина, который всем бы взял, да за порядками был наблюдателен и притом одной ошибкой маленечко произволялся: хмелем гораздо забирал, а что до женского пола, просто во все качества доходил... Мрачный товарищ только поддакивал; но когда Капитон объявил наконец, что он, по одному случаю, должен завтра же руку на себя наложить, мрачный товарищ заметил, что пора спать. И они разошлись грубо и молча.

Между тем ожидания дворецкого не сбылись. Барыню так заняла мысль о Капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об этом разговаривала с одной из своих компаньенок, которая держалась у ней в доме единственно на случай бессонницы и, как ночной извозчик, спала днём. Когда Гаврила вошёл к ней после чаю с докладом, первым её вопросом было: а что наша свадьба, идёт? Он, разумеется, отвечал, что идёт как нельзя лучше и что Капитон сегодня же к ней явится с поклоном. Барыне что-то нездоровилось; она недолго занималась делами. Дворецкий возвратился к себе в комнату и созвал совет. Дело точно требовало особенного обсуждения. Татьяна не прекословила, конечно; но Капитон объявлял во всеуслышание, что у него одна голова, а не две и не три... Герасим сурово и быстро на всех поглядывал, не отходил от девичьего крыльца и, казалось, догадывался, что затевается что-то для него недоброе. Собравшиеся (в числе их присутствовал старый буфетчик по прозвищу дядя Хвост, к которому все с почтением обращались за советом, хотя только и слышали от него, что: вот оно как, да: да, да, да) начали с того, что, на всякий случай для безопасности, заперли Капитона в чуланчик с водоочистительной машиной и принялись думать крепкую думу. Конечно, легко было прибегнуть к силе; но боже сохрани! Выйдет шум, барыня обеспокоится – беда! Как быть? Думали, думали и выдумали наконец. Неоднократно было замечено, что Герасим терпеть не мог пьяниц... Сидя за воротами, он всякий раз, бывало, с негодованием отворачивался, когда мимо него неверными шагами и с козырьком фуражки на ухе проходил какой-нибудь нагруженный человек. Решили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной и прошла бы, пошатываясь и покачиваясь, мимо Герасима. Бедная девка долго не соглашалась, но её уговорили; притом она сама видела, что иначе она не отделается от своего обожателя. Она пошла. Капитона выпустили из чуланчика: дело всё-таки до него касалось. Герасим сидел на тумбочке у ворот и тыкал лопатой в землю... Из-за всех углов, из-под штор за окнами глядели на него...

Хитрость удалась как нельзя лучше. Увидев Татьяну, он сперва, по обыкновению, с ласковым мычаньем закивал головой; потом взгляделся, уронил лопату, вскочил, подошёл к ней, придвинул своё лицо к самому её лицу... Она от страха ещё более зашаталась и закрыла глаза... Он схватил её за руку, помчал через весь двор и, войдя с нею в комнату, где заседал совет, толкнул её прямо к Капитону. Татьяна так и обмерла... Герасим постоял, поглядел на неё, махнул рукой, усмехнулся и пошёл, тяжело ступая, в свою каморку... Целые сутки не выходил он оттуда. Форейтор Антипка сказывал потом, что он сквозь щёлку видел, как Герасим, сидя на кровати, приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча – пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой, как ямщики или бурлаки, когда они затягивают свои заунывные песни. Антипке стало жутко, и он отошёл от щели. Когда же на другой день Герасим вышел из каморки, в нём особенной перемены нельзя было заметить. Он только стал

как будто поугрюмее, а на Татьяну и на Капитона не обращал ни малейшего внимания. В тот же вечер они оба с гусями под мышкой отправились к барыне и через неделю женились. В самый день свадьбы Герасим не изменил своего поведения ни в чём; только с реки он приехал без воды: он как-то на дороге разбил бочку; а на ночь, в конюшне он так усердно чистил и тёр свою лошадь, что та шаталась, как былинка на ветру, и переваливалась с ноги на ногу под его железными кулаками.

Всё это происходило весною. Прошёл ещё год, в течение которого Капитон окончательно спился с кругу и, как человек решительно никуда не годный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню вместе с своею женой. В день отъезда он сперва очень храбрился и уверял, что, куда его ни пошли, хоть туда, где бабы рубахи моют да вальки на небо кладут, он всё не пропадёт; но потом упал духом, стал жаловаться, что его везут к необразованным людям, и так ослабел наконец, что даже собственную шапку на себя надеть не мог; какая-то сострадательная душа надвинула её ему на лоб, поправила козырёк и сверху её прихлопнула. Когда же всё было готово и мужики уже держали вожжи в руках и ждали только слова: «С богом!», Герасим вышел из своей каморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный платок, купленный им для неё же с год тому назад. Татьяна, с великим равнодушием переносившая до того мгновения все превратности своей жизни, тут, однако, не вытерпела, прослезилась и, садясь в телегу, по-христиански три раза поцеловалась с Герасимом. Он хотел проводить её до заставы и пошёл сперва рядом с её телегой, но вдруг остановился на Крымском Броду, махнул рукой и отправился вдоль реки.

Дело было к вечеру. Он шёл тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с чёрными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезть из воды, бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил её одной рукой, сунул её к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он пошёл в свою каморку, уложил спасённого щенка на кровати, прикрыл его своим тяжёлым армяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и разостлав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего недели три, глаза у неё прорезались недавно; один глаз даже казался немножко больше другого; она ещё не умела пить из чашки и только дрожала и шурилась. Герасим взял её легонько двумя пальцами за голову и принагнул её мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлёбываясь. Герасим глядел, глядел, да как засмеётся вдруг... Всю ночь он возился с ней, укладывал её, обтирал и заснул, наконец, сам возле неё каким-то радостным и тихим сном.

Ни одна мать так не ухаживает за своим ребёнком, как ухаживал Герасим за своей питомцей. (Собака оказалась сучкой.) Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы, с большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, всё ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал – немые знают, что мычанье их обращает на себя внимание других, – он назвал её Муму. Все люди в доме её полюбили и тоже кликали Муму-ней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам её любил без памяти... и ему было неприятно, когда другие её гладили: боялся он, что ли, за неё, ревновал ли он к ней – бог весть! Она его будила по утрам, дёргая его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, караулила его мётлы и лопаты, никого не подпускала к его каморке. Он нарочно для неё прорезал отверстие в своей двери, и она как будто чувствовала, что только в Герасимовой каморке она была полная хозяйка, и потому, войдя в неё, тотчас с

довольным видом вскакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла без разбору, как иная глупая дворняжка, которая, сидя на задних лапах и подняв морду и зажмурив глаза, лает просто от скуки, так, на звёзды, и обыкновенно три раза сряду, – нет! тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром: либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох... Словом, она сторожила отлично. Правда, был ещё, кроме её, на дворе старый пёс жёлтого цвета, с бурыми крапинами; по имени Волчок, но того никогда, даже ночью, не спускали с цепи, да и он сам, по дряхлости своей, вовсе не требовал свободы – лежал себе, свернувшись, в своей конуре и лишь изредка издавал сиплый, почти беззвучный лай, который тотчас же прекращал, как бы сам чувствуя всю его бесполезность. В господский дом Муму не ходила и, когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалась назади и нетерпеливо его выжидала у крыльца, наострив уши и поворачивая голову то направо, то вдруг налево, при малейшем стуке за дверями...

Так прошёл ещё год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и очень был доволен своей судьбой, как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство... а именно: в один прекрасный летний день барыня с своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила; приживалки смеялись и шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали: в доме не очень-то любили, когда на барыню находил весёлый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием, а во-вторых, эти вспышки у ней продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа. В тот день она как-то счастливо встала; на картах ей вышло четыре валета: исполнение желаний (она всегда гадала по утрам), – и чай ей показался особенно вкусным, за что горничная получила на словах похвалу и деньгами гривенник. С сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе, под розовым кусточком, лежала Муму и тщательно грызла кость. Барыня увидела её.

– Боже мой! – воскликнула она вдруг. – Что это за собака?

Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась, бедненькая, с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он ещё не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника.

– Н... н...е знаю-с, – пробормотала она, – кажется, немного.

– Боже мой! – прервала барыня. – Да она премиленькая собачка! Велите её привести. Давно она у него? Как же я это её не видала до сих пор?.. Велите её привести.

Приживалка тотчас порхнула в переднюю.

– Человек, человек! – закричала она. – Приведите поскорей Муму! Она в палисаднике.

– А её Муму зовут, – промолвила барыня, – очень хорошее имя.

– Ах, очень-с! – возразила приживалка. – Скорей, Степан!

Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея, бросился сломя голову в палисадник и хотел было схватить Муму, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, пустилась во все лопатки к Герасиму, который в то время у кухни выколачивал и вытряхивал бочку, перевёртывая её в руках, как детский барабан. Степан побежал за ней вслед, начал ловить её у самых ног её хозяина; но проворная собачка не давалась чужому в руки, прыгала и увёртывалась. Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню; наконец Степан с досадой приподнялся и поспешно растолковал ему знаками, что барыня, мол, требует твою собаку к себе. Герасим немного изумился, однако подозвал Муму, поднял её с земли и передал Степану. Степан принёс её в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала её ласковым голосом подзывать к себе. Муму, отроду ещё не бывавшая в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, но, оттолкнутая услужливым Степаном, задрожала и прижалась к стене.

– Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди к барыне, – говорила госпожа, – подойди, глупенькая... не бойся...

– Подойди, подойди, Муму, к барыне, – твердили приживалки, – подойди.

Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места.

– Принесите ей что-нибудь поесть, – сказала барыня. – Какая она глупая! К барыне не идёт. Чего боится?

– Оне не привыкли ещё, – произнесла робким и умильным голосом одна из приживалок.

Степан принёс блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже и не понюхала молока и всё дрожала и озиралась по-прежнему.

– Ах, какая же ты! – промолвила барыня, подходя к ней, нагнулась и хотела погладить её, но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно отдернула руку...

Произошло мгновенное молчание. Муму слабо визгнула, как бы жалуясь и извиняясь... Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки её испугало.

– Ах! – закричали разом все приживалки. – Не укусила ли она вас, сохрани бог! (Муму в жизнь свою никого никогда не укусила.) Ах, ах!

– Отнести её вон, – проговорила изменившимся голосом старуха. – Скверная собачонка! Какая она злая!

И, медленно повернувшись, направилась она в свой кабинет. Приживалки робко переглянулись и пошли было за ней, но она остановилась, холодно посмотрела на них, промолвила: «Зачем это? Ведь я вас не зову» – и ушла.

Приживалки отчаянно замахали руками на Степана; тот подхватил Муму и выбросил её поскорей за дверь, прямо к ногам Герасима, – а через полчаса в доме уже царствовала глубокая тишина, и старая барыня сидела на своём диване мрачнее грозовой тучи.

Какие безделицы, подумаешь, могут иногда расстроить человека!

До самого вечера барыня была не в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты и ночь дурно провела. Вздумала, что одеколон ей подали не тот, который обыкновенно подавали, что подушка у ней пахнет мылом, и заставила кастеляншу всё белье перенюхать – словом, волновалась и «горячилась» очень. На другое утро она велела позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного.

– Скажи, пожалуйста, – начала она, как только тот, не без некоторого внутреннего лепетания, переступил порог её кабинета, – что это за собака у нас на дворе всю ночь лаяла? мне спать не дала!

– Собака-с... какая-с... может быть, немного собака-с, – произнёс он не совсем твёрдым голосом.

– Не знаю, немного ли, другого ли кого, только спать мне не дала. Да я и удивляюсь, на что такая пропасть собак! Желая знать. Ведь есть у нас дворная собака?

– Как же-с, есть-с. Волчок-с.

– Ну, чего ещё, на что нам ещё собака? Только одни беспорядки заводить. Старшего нет в доме – вот что. И на что немому собака? Кто ему позволил собак у меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, а она в палисаднике лежит, какую-то мерзость притащила, грызёт – а у меня там розы посажены...

Барыня помолчала.

– Чтоб её сегодня же здесь не было... слышишь?

– Слушаю-с.

– Сегодня же. А теперь ступай. К докладу я тебя потом позову.

Гаврила вышел.

Проходя через гостиную, дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой, втихомолочку высморкал в зале свой утиный нос и вышел в переднюю. В передней на конике спал Степан, в положении убитого воина на батальной картине, судорожно вытянув обнажённые ноги из-под сюртука, служившего ему вместо одеяла. Дворецкий растолкал его и вполголоса сообщил ему какое-то приказание, на которое Степан отвечал полужезвом, полу-

хохотом. Дворецкий удалился, а Степан вскочил, натянул на себя кафтан и сапоги, вышел и остановился у крыльца. Не прошло пяти минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной, в сопровождении неразлучной Муму. (Барыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом.) Герасим стал боком перед дверью, толкнул её плечом и ввалился в дом с своей ношей. Муму, по обыкновению, осталась его дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на неё, как коршун на цыплёнка, придавил её грудью к земле, сгрёб в охапку и, не надев даже картуза, выбежал с нею на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в Охотный ряд. Там он скоро отыскал покупателя, которому уступил её за полтинник, с тем только, чтобы он по крайней мере неделю продержал её на привязи, и тотчас вернулся; но, не доезжая до дому, слез с извозчика и, обойдя двор кругом, с заднего переулка, через забор перескочил на двор; в калитку-то он побоялся идти, как бы не встретить Герасима.

Впрочем, его беспокойство было напрасно: Герасима уже не было на дворе. Выйдя из дому, он тотчас хватился Муму; он ещё не помнил, чтоб она когда-нибудь не дождалась его возвращения, стал повсюду бегать, искать её, кликать по-своему... бросился в свою каморку, на сеновал, выскочил на улицу – туда-сюда... Пропала! Он обратился к людям, с самыми отчаянными знаками спрашивал о ней, показывая на пол-аршина от земли, рисовал её руками... Иные точно не знали, куда девалась Муму, и только головами качали, другие знали и посмеивались ему в ответ, а дворецкий принял чрезвычайно важный вид и начал кричать на кучеров. Тогда Герасим побежал со двора долой.

Уже смеркалось, как он вернулся. По его истомлённому виду, по неверной походке, по запылённой одежде его можно было предполагать, что он успел обежать пол-Москвы. Он остановился против барских окон, окинул взором крыльцо, на котором столпилось человек семь дворовых, отвернулся и промычал ещё раз: «Муму!» – Муму не отозвалась. Он пошёл прочь. Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова... а любопытный фореитор Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что немой-де всю ночь охал.

Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер Потап, чем кучер Потап очень остался недоволен. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли её приказание. Гаврила отвечал, что исполнено. На другое утро Герасим вышел из своей каморки на работу. К обеду он пришёл, поел и ушёл опять, никому не поклонившись. Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго, вернулся и тотчас отправился на сеновал. Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дёргают за полу; он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился; но вот опять его дёрнули, сильнее прежнего; он вскочил... перед ним, с обрывком на шее, вертелась Муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди; он схватил Муму, стиснул её в своих объятиях; она в одно мгновение облила его нос, глаза, усы и бороду... Он постоял, подумал, осторожно слез с сеника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался в свою каморку. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что её, должно быть, свели по приказанию барыни; люди-то ему объяснили знаками, как его Муму на неё окрысилась, – и он решился принять свои меры. Сперва он накормил Муму хлебушком, обласкал её, уложил, потом начал соображать, да всю ночь напролёт и соображал, как бы получше её спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять её в каморке и только изредка к ней наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул старым своим армяком и чуть свет был уже на дворе как ни в чём не бывало, сохраняя даже (невинная хитрость!) прежнюю унылость на лице. Бедному глухому в голову не могло прийти, что Муму себя визгом своим выдаст: действительно, все в доме скоро узнали, что собака немого воротилась и сидит у него взаперти, но, из сожаления к нему и к ней, а отчасти, может быть, и из страху перед ним, не давали ему понять, что про-

ведали его тайну. Дворецкий один почесал у себя в затылке, да махнул рукой. «Ну, мол, бог с ним! Авось до барыни не дойдёт!» Зато никогда немой так не усердствовал, как в тот день: вычистил и выскреб весь двор, выполол все травки до единой, собственноручно повыдергал все колышки в заборе палисадника, чтобы удостовериться, довольно ли они крепки, и сам же их потом вколотил – словом, возился и хлопотал так, что даже барыня обратила внимание на его радение. В течение дня Герасим раза два украдкой ходил к своей затворнице; когда же наступила ночь, он лёг спать вместе с ней в каморке, а не на сеновале и только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было соби-рался вернуться, как вдруг за забором, со стороны переулка, раздался шорох. Муму навост-рила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залилась громким и пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время барыня только что засыпала после продолжительного «нервического волнения»: эти волнения у ней всегда случались после слишком сытного ужина. Внезапный лай её разбудил; сердце у ней забилося и замерло. «Девки, девки! – простонала она. – Девки!» Перепуганные девки вскочили к ней в спальню. «Ох, ох, умираю! – проговорила она, тоскливо разводя руками. – Опять, опять эта собака!.. Ох, пошлите за доктором. Они меня убить хотят... Собака, опять собака! Ох!» – и она закинула голову назад, что должно было означать обморок. Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Харитоном. Этот лекарь, которого всё искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими подошвами, умел деликатно братья за пульс, спал четырнадцать часов в сутки, а остальное время всё вздыхал да беспрестанно потчевал барыню лавровишневыми каплями, – этот лекарь тотчас прибежал, покурил жжёными перьями и, когда барыня открыла глаза, немедленно поднёс ей на серебряном подносике рюмку с заветными каплями. Барыня приняла их, но тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что её, бедную старую женщину, все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят её смерти. Между тем несчастная Муму продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать её от забора. «Вот, вот... опять...» – пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб. Лекарь шепнул девке, та бросилась в переднюю, растолкала Степана, тот побе-жал будить Гаврилу, Гаврила сгоряча велел поднять весь дом.

Герасим обернулся, увидел замелькавшие огни и тени в окнах и, почуяв сердцем беду, схватил Муму под мышку, вбежал в каморку и заперся. Через несколько мгновений пять чело-век ломались в его дверь, но, почувствовав сопротивление засова, остановились. Гаврила при-бежал в страшных попыхах, приказал им всем оставаться тут до утра и караулить, а сам потом ринулся в девичью и через старшую компаньонку Любовь Любимовну, с которой вместе крал и учитывал чай, сахар и прочую бакалею, велел доложить барыне, что собака, к несчастью, опять откуда-то прибежала, но что завтра же её в живых не будет и чтобы барыня сделала милость, не гневалась и успокоилась. Барыня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась, да лекарь второ-рых вместо двенадцати капель налил целых сорок: сила лавровишенья и подействовала – через четверть часа барыня уже почивала крепко и мирно; а Герасим лежал, весь бледный, на своей кровати и сильно сжимал пасть Муму.

На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Гаврила ожидал её пробужде-ния для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимово убежище, а сам гото-вился выдержать сильную грозу. Но грозы не приключилось. Лёжа в постели, барыня велела позвать к себе старшую приживалку.

– Любовь Любимовна, – начала она тихим и слабым голосом; она иногда любила прики-нуться загнанной и сиротливой страдальцей; нечего и говорить, что всем людям в доме стано-вилось тогда очень неловко, – Любовь Любимовна, вы видите, каково моё положение; подите, душа моя, к Гавриле Андреичу, поговорите с ним: неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия, самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить, – прибавила

она с выражением глубокого чувства, – подите, душа моя, будьте так добры, подите к Гавриле Андреичу.

Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чём происходил у них разговор; но спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима: впереди выступал Гаврила, придерживая рукою картуз, хотя ветру не было; около него шли лакеи и повара, из окна глядел дядя Хвост и распоряжался, то есть только так руками разводил; позади всех прыгали и кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих. На узкой лестнице, ведущей к каморке, сидел один караульщик; у двери стояли два других, с палками. Стали взбираться по лестнице, заняли её во всю длину. Гаврила подошёл к двери, стукнул в неё кулаком, крикнул:

– Отвори!

Послышался сдавленный лай, но ответа не было.

– Говорят, отвори! – повторил он.

– Да, Гаврила Андреич, – заметил снизу Степан, – ведь он глухой – не слышит.

Все рассмеялись.

– Как же быть? – возразил сверху Гаврила.

– А у него там дыра в двери, – отвечал Степан, – так вы палкой-то пошевелите.

Гаврила нагнулся.

– Он её армяком каким-то заткнул, дыру-то.

– А вы армяк пропихните внутрь.

Тут опять раздался глухой лай.

– Вишь, вишь, сама сказывается, – заметили в толпе и опять рассмеялись.

Гаврила почесал у себя за ухом.

– Нет, брат, – продолжал он наконец, – армяк-то ты пропихивай сам, коли хочешь.

– А что ж, извольте!

И Степан вскарабкался наверх, взял палку, просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстия палкой, приговаривая: «Выходи, выходи!» Он ещё болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась – вся челядь тотчас кубарем скатилась с лестницы, Гаврила прежде всех. Дядя Хвост запер окно.

– Ну, ну, ну, ну, – кричал Гаврила со двора, – смотри у меня, смотри!

Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока; в своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними, Гаврила сделал шаг вперёд.

– Смотри, брат, – промолвил он, – у меня не озорничай.

И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки: подавай, мол, её сейчас, а то беда тебе будет.

Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукою у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого.

– Да, да, – возразил тот, кивая головой, – да, непременно.

Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая всё время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берёт на себя уничтожить Муму.

– Да ты обманешь, – замахал ему в ответ Гаврила.

Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь.

Все молча переглянулись.

– Что ж это такое значит? – начал Гаврила. – Он заперся?

– Оставьте его, Гаврила Андреич, – промолвил Степан, – он сделает, коли обещал. Уж он такой... Уж коли он обещает, это наверное. Он на это не то, что наш брат. Что правда, то правда. Да.

– Да, – повторили все и трякнули головами. – Это так. Да.

Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал: «Да».

– Ну, пожалуй, посмотрим, – возразил Гаврила, – а караул всё-таки не снимать. Эй ты, Ерошка! – прибавил он, обращаясь к какому-то бледному человеку в жёлтом нанковом казакине, который считался садовником, – что тебе делать? Возьми палку да сиди тут, и чуть что, тотчас ко мне беги!

Ерошка взял палку и сел на последнюю ступеньку лестницы. Толпа разошлась, исключая немногих любопытных и мальчишек, а Гаврила вернулся домой и через Любовь Любимовну велел доложить барыне, что всё исполнено, а сам на всякий случай послал форейтора к хозяину. Барыня завязала в носовом платке узелок, налила на него одеколону, понюхала, потёрла себе виски, накушалась чаю и, будучи ещё под влиянием лавровишневых капель, заснула опять.

Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась, и показался Герасим. На нём был праздничный кафтан; он вёл Муму на верёвочке. Ерошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами молча. Он даже не обернулся; шапку надел только на улице. Гаврила послал вслед за ним того же Ерошку в качестве наблюдателя. Ерошка увидел издали, что он вошёл в трактир, вместе с собакой, и стал дожидаться его выхода.

В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе шей с мясом и сел, опершись руками на стол. Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась: видно было, что её недавно вычесали. Принесли Герасиму шей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья. Герасим долго глядел на неё; две тяжёлые слезы выкатились вдруг из его глаз: одна упала на крутой лобик собачки, другая – во щи. Он заслонил лицо своё рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. Ерошка, увидав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним.

Герасим шёл не торопясь и не спускал Муму с верёвочки. Дойдя до угла улицы, он остановился, как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому Броду. На дороге он зашёл на двор дома, к которому пристроивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского Брода он повернул по берегу, дошёл до одного места, где стояли две лодочки с вёслами, привязанными к кольшкам (он уже заметил их прежде), и вскочил в одну из них вместе с Муму. Хромой старичишка вышел из-за шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него. Но Герасим только закивал головой и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки, что в одно мгновение умчался сажень на сто. Старик постоял, постоял, почесал себе спину сперва левой, потом правой рукой и вернулся, хромая, в шалаш.

А Герасим всё грёб да грёб. Вот уже Москва осталась позади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы. Повеяло деревней. Он бросил вёсла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке – дно было залито водой, – и остался неподвижным, скрестив могучие руки у неё на спине, между тем как лодку волной помаленьку относил назад, к городу. Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал верёвкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел её на шею Муму, поднял её над рекой, в последний раз посмотрел на неё... Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки... Герасим ничего не слышал, ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды; для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая

тихая ночь не беззвучна для нас, и когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны, по-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко назад к берегу разбегались какие-то широкие круги.

Ерошка, как только Герасим скрылся у него из виду, вернулся домой и донёс всё, что видел.

– Ну, да, – заметил Степан, – он её утопит. Уж можно быть спокойным. Коли он что обещал...

В течение дня никто не видел Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер; собрались к ужину все, кроме его.

– Экой чудной этот Герасим! – пропищала толстая прачка. – Можно ли эдак из-за собаки прокляжаться!.. Право!

– Да Герасим был здесь! – воскликнул вдруг Степан, загребая себе ложкой каши.

– Как? Когда?

– Да вот часа два тому назад. Как же. Я с ним в воротах повстречался; он уж опять отсюда шёл, со двора выходил. Я было хотел спросить его насчёт собаки-то, да он, видно, не в духе был. Ну, и толкнул меня; должно быть, он так только отсторонить меня хотел: дескать, не приставай, – да такого необыкновенного леща мне в становую жилу поднёс, важно так, что ой-ой-ой! – И Степан с невольной усмешкой пожался и потёр себе затылок. – Да, – прибавил он, – рука у него, благодатная рука, нечего сказать.

Все посмеялись над Степаном и после ужина разошлись спать.

А между тем, в ту самую пору по Т...у шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан, с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кой-какие пожитки в старую попону, связал её узлом, взвалил на плечо, да и был таков. Дорогу он хорошо заметил ещё тогда, когда его везли в Москву; деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в двадцати пяти верстах от шоссе. Он шёл по нём с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шёл; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперёд. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях... Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла; с одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба ещё белел и слабо румянился последним отблеском исчезающего дня, – с другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели кругом, впуски перекликивались коростели... Герасим не мог их слышать, не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев, мимо которых его проносили сильные его ноги, но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с тёмных полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу – ветер с родины, – ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде; видел перед собой белеющую дорогу – дорогу домой, прямую как стрела; видел в небе несчётные звёзды, светившие его пути, и как лев выступал сильно и бодро, так что, когда восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло уже тридцать пять вёрст...

Через два дня он уже был дома, в своей избёнке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старосте. Староста сначала было удивился; но сенокос только что начинался; Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки – и пошёл косить он по-старинному, косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи да загрёбы...

А в Москве, на другой день после побега Герасима, хватились его. Пошли в его каморку, обшарили её, сказали Гавриле. Тот пришёл, посмотрел, пожал плечами и решил, что немой либо бежал, либо утоп вместе с своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыне.

Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожить собаку, и, наконец, такой дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой да приговаривал: «Ну!» – пока дядя Хвост его не урезонил, сказав ему: «Ну-у!» Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барыня несколько успокоилась; сперва было отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву, потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. Впрочем, она скоро сама после того умерла; а наследникам её было не до Герасима: они и остальных-то матушкиных людей распустили по оброку.

И живёт до сих пор Герасим бобылём в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырёх по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них, и ни одной собаки у себя не держит. «Впрочем, – толкуют мужики, – его же счастье, что ему не надобеть бабья; а собака – на что ему собака? К нему на двор вора оселом не затащишь!» Такова ходит молва о богатырской силе немого.

1852

Записки охотника

Хорь и Калиныч

Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живёт в дрянных осиновых избёнках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дёгтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханых полей, близ оврага, кое-как превращённого в грязный пруд. Кроме немногих раки, всегда готовых к услугам, да двух-трёх тощих берёз, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой... Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тёсом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не размётан и не вываливается наружу, не зовёт в гости всякую прохожую свинью... И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадь¹ исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки вёрст, и не перевелась ещё благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья-куропатка своим порывистым взлётом веселит и пугает стрелка и собаку.

В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошёлся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушённым сердцем доверял своё горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада; любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил; хвалил сочинение Акима Нахимова и повесть *Пинну*; заикался; называл свою собаку Астрономом; вместо *однако* говорил *одначе* и завёл у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба – грибами, макароны – порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г. Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек.

В первый же день моего знакомства с г. Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.

– До меня вёрст пять будет, – прибавил он, – пешком идти далеко; зайдёмте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.)

– А кто такой Хорь?

– А мой мужик... Он отсюда близёхонько.

Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединённых заборами; перед главной избой тянулся навес, подпёртый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и красивый.

¹ «Площадями» называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов; орловское наречие отличается вообще множеством своебытных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных, слов и оборотов. – *Примеч. авт.*

– А, Федя! дома Хорь? – спросил его г-н Полутыкин.

– Нет, Хорь в город уехал, – отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов. – Тележку заложить прикажете?

– Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу.

Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу перед тяжёлым образом в серебряном окладе теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между брёвнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтём пшеничного хлеба и с дюжиной солёных огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощёкий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Всё дети Хоря!» – заметил Полутыкин. «Всё Хорьки, – подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо, – да ещё не всё: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город... Смотри же, Вася, – продолжал он, обращаясь к кучеру, – духом сомчи: барина везёшь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феде. «Подсадить Астронома!» – торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принуждённо улыбающуюся собаку и положил её на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатали. «А вот это моя контора, – сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик, – хотите зайти?» – «Извольте». – «Она теперь упразднена, – заметил он, слезая, – а всё посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич, – проговорил г-н Полутыкин, – а где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте, – сказал мне Полутыкин, – это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причём старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать, – заметил мой новый приятель. – В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.

– Скажите, пожалуйста, – спросил я Полутыкина за ужином, – отчего у вас Хорь живёт отдельно от прочих ваших мужиков?

– А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришёл он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший. – «Да зачем тебе селиться на болоте?» – «Да уж так; только вы, батюшка Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете». – «Пятьдесят рублёв в год!» – «Извольте». – «Да без недоимок у меня, смотри!» – «Известно, без недоимок...» Вот он и поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали.

– Ну, и разбогател? – спросил я.

– Разбогател. Теперь он мне сто целковых оброка платит, да ещё я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: «Откупись, Хорь, эй, откупись!..» А он, бестия, меня уверяет, что нечем; денег, дескать, нету... Да, как бы не так!..

На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!» – «Сейчас, батюшка, сейчас, – раздался голос со двора, – лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый

день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружьё, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого весёлого, самого кроткого нрава, беспрестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходил он не скоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребёнком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свёл нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный тёплый мёд ключевой водой и заснули под однообразное жужжанье пчёл и болтливый лепет листьев.

Лёгкий порыв ветерка разбудил меня... Я открыл глаза и увидел Калиныча: он сидел на пороге полуоткрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Г-н Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене: тело нежится и томится, лёгким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. «Калиныч – добрый мужик, – сказал мне г-н Полутыкин, – усердный и услужливый мужик; хозяйство в исправности, однако, содержать не может: я его всё оттягиваю. Каждый день со мною на охоту ходит... Какое уж тут хозяйство, – посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать.

На другой день г-н Полутыкин принуждён был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к Хорю. На пороге избы встретил меня старик – лысый, низкого роста, плечистый и плотный – сам Хорь. Я с любопытством посмотрел на этого Хоря. Склад его лица напоминал Сократа: такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принёс мне молока с чёрным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал своё достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов.

Мы с ним толковали о посевах, об урожае, о крестьянском быте... Он со мной всё как будто соглашался; только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то... Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрёно, должно быть из осторожности... Вот вам образчик нашего разговора:

– Послушай-ка, Хорь, – говорил я ему, – отчего ты не откупишься от своего барина?

– А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю... барин у нас хороший.

– Все же лучше на свободе, – заметил я.

Хорь посмотрел на меня сбоку.

– Вестимо, – проговорил он.

– Ну, так отчего же ты не откупаешься?

Хорь покрутил головой.

– Чем, батюшка, откупиться прикажешь?

– Ну, полно, старина...

– Попал Хорь в вольные люди, – продолжал он вполголоса, как будто про себя, – кто без бороды живёт, тот Хорю и набольший.

– А ты сам бороду сбрей.

– Что борода? Борода – трава: скосить можно.

– Ну, так что ж?

– А, знать, Хорь прямо в купцы попадёт; купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах.

– А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься? – спросил я его.

– Торгуем помаленьку маслишком да дёгтишком... Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить?

«Крепок ты на язык и человек себе на уме», – подумал я.

– Нет, – сказал я вслух, – тележки мне не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае.

– Милости просим. Да покойно ли тебе будет в сарае? Я прикажу бабам постлать тебе простыню и положить подушку. Эй, бабы! – вскричал он, поднимаясь с места, – сюда, бабы!.. А ты, Федя, поди с ними. Бабы ведь народ глупый.

Четверть часа спустя Федя с фонарём проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих; Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два, собака с достоинством на неё зарычала; свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая; лошадь где-то в близости стала жевать сено и фыркать... я, наконец, задремал.

На заре Федя разбудил меня. Этот весёлый, бойкий парень очень мне нравился; да и, сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. Оттого ли, что я провёл ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошёлся со мной.

– Самовар тебе готов, – сказал он мне с улыбкой, – пойдём чай пить.

Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочерёдно входили в избу.

– Что у тебя за рослый народ! – заметил я старику.

– Да, – промолвил он, откусывая крошечный кусок сахара, – на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего.

– И все с тобой живут?

– Все. Сами хотят, так и живут.

– И все женаты?

– Вон один, пострел, не женится, – отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. – Васька, тот ещё молод, тому погодить можно.

– А что мне жениться? – возразил Федя, – мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли?

– Ну, уж ты... уж я тебя знаю! Кольца серебряные носишь... Тебе бы всё с дворовыми девками нюхаться... «Полноте, бесстыдники!» – продолжал старик, передразнивая горничных. – Уж я тебя знаю, белоручка ты этакой!

– А в бабе-то что хорошего?

– Баба – работница, – важно заметил Хорь. – Баба мужику слуга.

– Да на что мне работница?

– То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем мы вашего брата.

– Ну, жени меня, коли так. А? Что! Что ж ты молчишь?

– Ну, полно, полно, балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю, небось... А ты, батюшка, не гневись: дитяtko, видишь, малое, разуму не успело набраться.

Федя покачал головой...

– Дома Хорь? – раздался за дверью знакомый голос, и Калиныч вошёл в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика.

Я в этот день пошёл на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного и следующие три дня провёл у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринуждённо разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть обстроился, накопил деньжонку, ладил с бариним и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьём, как бойкий фабричный человек... Но Калиныч был одарён преимуществами, которые признавал сам Хорь; например, он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была лёгкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же – к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился; например, из его рассказов узнал я, что каждое лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продаёт косы. На наличные деньги он берёт рубль двадцать пять копеек – полтора рубля ассигнациями; в долг – три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овёс только что скошен, стало быть заплатить есть чем; он идёт с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние; их лишали удовольствия щёлкать по косе, прислушиваться, перевертывать её в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой «орёл» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птице, от которой он получил своё имя, он не нападает открыто и смело; напротив, «орёл» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьём угадывают его приближенье и крадутся к нему навстречу. Второпях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдаёт «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную паневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки» – важное распространение и усовершенствование промышленности «орлов»! Но зато мужики, в свою очередь, наострились и при малейшем подозрении, при одном отдалённом слухе о появлении «орла» быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они её точно продают, – не в городе, в город надо самим тащиться, а приедем торгашам, которые, за неимением безмена, считают пуд в сорок горстей – а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно когда он «усердствует»! Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живальной» (как у нас в Орле говорят), наслушался вдоволь. Но Хорь не всё рассказывал, он сам меня расспрашивал

о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось... Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал всё по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка, как же?..» – «А! ах, господи, твоя воля!» – восклицал Калиныч во время моего рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо – это порядок». Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, – убеждение, что Пётр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя, он мало занимается своим прошедшим и смело смотрит вперёд. Что хорошо – то ему и нравится, что разумно – того ему и подавай, а откуда оно идёт – ему всё равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положения, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотить, как выражаются мужики, жёрновом не вымелешь. Он действительно понимал своё положение. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познания были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч – умел. «Этому шалопаю грамота далась, – заметил Хорь, – у него и пчёлы отродясь не мёрли». – «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает». – «А другие?» – «Другие не знают». – «А что?» Старик не отвечал и переменял разговор. Впрочем, как он умён ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в весёлый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на неё внимания, но невесток она содержала в страхе Божиим. Недаром в русской песенке свекровь поёт: «Какой ты мне сын, какой семьянин! Не бьёшь ты жены, не бьёшь молодой...» Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими... пустяками заниматься, – пускай бабы ссорятся... Их что разнимать – то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «Сюды, сюды, собачка!» – и била её по худой спине кочергой или становилась под навес и «лаялась», как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и по его приказанию убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорём, когда дело доходило до г-на Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», – говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьёт?» – возражал тот. «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? Я мужик...» – «Да вот и я мужик, а вишь...» При этом слове Хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» – отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что день, то лапти». – «Он мне даёт на лапти». – «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причём его маленькие глазки исчезали совершенно.

Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню: «Доля ты моя, доля!» Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирал щёку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю... Зато в другое время не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копается – телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избе жильём пахнуть».

– Посмотри-ка, – возразил я ему, – как у Калиныча на пасеке чисто.

– Пчёлы бы жить не стали, батюшка, – сказал он со вздохом.

«А что, – спросил он меня в другой раз, – у тебя своя вотчина есть?» – «Есть». – «Далеко отсюда?» – «Вёрст сто». – «Что же ты, батюшка, живёшь в своей вотчине?» – «Живу». – «А больше, чай, ружьём пробавляешься?» – «Признаться, да». – «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на здоровье тетеревов, да старосту меняй почаще».

На четвёртый день, вечером, г. Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров, – сказал я... – Прощай, Федя». – «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали; заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», – заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдёт, – возразил мне Калиныч, – утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и всё глядел да глядел на зарю...

На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.

1847

Малиновая вода

В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время, от двенадцати до трёх часов, самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться, и самая преданная собака начинает «чистить охотнику шпоры», то есть идёт за ним шагом, болезненно прищурив глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ на укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице, но вперёд не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени хоть на мгновение; долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил меня, наконец, подумать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям, спустился с кручи и пошёл по жёлтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всём околотке под названием «Малиновой воды». Ключ этот бьёт из расселины берега, превратившейся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и в двадцати шагах оттуда с весёлым и болтливym шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага; около родника зеленеет короткая, бархатная травка; солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги. Я добрался до ключа, на траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилёг в тень и взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один, довольно плотный и высокого роста, в тёмно-зелёном опрятном кафтане и пуховом картузе, удил рыбу; другой – худенький и маленький, в мухояровом заплатанном сюртучке и без шапки, держал на коленях горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая предохранить её от солнца. Я взглянул в него попристальнее и узнал в нём шумихинского Стёпушку. Прошу позволения читателя представить ему этого человека.

В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменной церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окружённые разными пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными сараями, банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для управляющих, цветочными оранжереями, качелями для народа и другими, более или менее полезными зданиями. В этих хоромах жили богатые помещики, и всё у них шло своим порядком, как вдруг в одно прекрасное утро вся эта благодать сгорела дотла. Господа перебрались в другое гнездо; усадьба запустела. Обширное пепелище превратилось в огород, кое-где загромождённый горами кирпичей, остатками прежних фундаментов. Из уцелевших брёвен на скорую руку сколотили избёнку, покрыли её барочным тёсом, купленным лет за десять для построения павильона на готический манер, и поселили в ней садовника Митрофана с женой Аксиньей и семьёю детьми. Митрофану приказали поставлять на господский стол, за полтора года вёрст, зелень и овощи; Аксинье поручили надзор за тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишённой всякой способности воспроизведения и потому со времени приобретения не дававшей молока; ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную «господскую» птицу; детям, по причине малолетства, не определили никаких должностей, что, впрочем, нисколько не мешало им совершенно облениться. У этого садовника мне случилось раза два переночевать; мимоходом забирал я у него огурцы, которые, бог ведаёт почему, даже летом отличались величиной, дрянным водянистым вкусом и толстой жёлтой кожей. У него-то увидел я впервые Стёпушку. Кроме Митрофана с его семьёй да старого глухого ктитора Герасима, проживавшего Христа ради в каморочке у кривой солдатки, ни одного дворового человека не осталось

в Шумихине, потому что Стёпушку, с которым я намерен познакомить читателя, нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового в особенности.

Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь да связи; всякому дворовому выдаётся если не жалованье, то по крайней мере так называемое «отвесное»: Стёпушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании. У этого человека даже прошедшего не было; о нём не говорили; он и по ревизии едва ли числился. Ходили тёмные слухи, что состоял он когда-то у кого-то в камердинерах; но кто он, откуда он, чей сын, как попал в число шумихинских подданных, каким образом добыл мухояровый, с незапамятных времён носимый им кафтан, где живёт, чем живёт, – об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия, да и, правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворовых в восходящей линии до четвёртого колена, и тот раз только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится родственницей турчанка, которую покойный барин, бригадир Алексей Романыч, из похода в обозе изволил привезти. Даже, бывало, в праздничные дни, дни всеобщего жалованья и угощения хлебом-солью, гречишными пирогами и зелёным вином, по старинному русскому обычаю, – даже и в эти дни Стёпушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не кланялся, не подходил к барской руке, не выпивал духом стакана под господским взглядом и за господское здоровье, стакана, наполненного жирною рукою приказчика; разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога. В Светлое воскресенье с ним христосовались, но он не подворачивал замасленного рукава, не доставал из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его, задыхаясь и моргая, молодым господам или даже самой барыне. Проживал он летом в клетке, позади курятника, а зимой в предбаннике; в сильные морозы ночевал на сеновале. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не заговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул. После пожара этот заброшенный человек приютился, или, как говорят орловцы, «притулился», у садовника Митрофана. Садовник не тронул его, не сказал ему: живи у меня, – да и не прогнал его. Стёпушка и не жил у садовника: он обитал, витал на огороде. Ходил он и двигался без всякого шума; чихал и кашлял в руку, не без страха; вечно хлопотал и возился втихомолку, словно муравей – и всё для еды, для одной еды. И точно, не заботясь он с утра до вечера о своём пропитании, – умер бы мой Стёпушка с голоду. Плохое дело не знать поутру, чем к вечеру сыт будешь! То под забором Стёпушка сидит и редьку гложет, или морковь сосёт, или грязный кочан капусты под себя крошит; то ведро с водой куда-то тащит и кряхтит; то под горшочком огонёк раскладывает и какие-то чёрные кусочки из-за пазухи в горшок бросает; то у себя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик приколачивает, полочку для хлебца устраивает. И всё это он делает молча, словно из-за угла: глядь, уж и спрятался. А то вдруг отлучится дня на два; его отсутствия, разумеется, никто не замечает... Смотришь, уж он опять тут, опять где-нибудь около забора под таганчик шепочки украдкой подкладывает. Лицо у него маленькое, глазки жёлтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши пребольшие, прозрачные, как у летучей мыши, борода словно две недели тому назад выбрита, и никогда ни меньше не бывает, ни больше. Вот этого-то Стёпушку я встретил на берегу Исты в обществе другого старика.

Я подошёл к ним, поздоровался и присел с ними рядом. В товарище Стёпушки я узнал тоже знакомого: это был вольноотпущенный человек графа Петра Ильича***, Михайло Савельев, по прозвищу Туман. Он проживал у болховского чахоточного мещанина, содержателя постоянного двора, где я довольно часто останавливался. Проезжающие по большой орловской дороге молодые чиновники и другие незанятые люди (купцам, погружённым в свои полосатые перины, не до того) до сих пор ещё могут заметить в недалеком расстоянии от большого села Троицкого огромный деревянный дом в два этажа, совершенно заброшенный, с провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую дорогу. В полдень, в ясную,

солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил граф Пётр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века. Бывало, вся губерния съезжалась у него, плясала и веселилась на славу, при оглушительном громе доморощенной музыки, трескотне бураков и римских свечей; и, вероятно, не одна старушка, проезжая теперь мимо запустелых боярских палат, вздохнёт и вспомнит минувшие времена и минувшую молодость. Долго пиروвал граф, долго расхаживал, приветливо улыбаясь, в толпе подобострастных гостей; но имения его, к несчастью, не хватило на целую жизнь. Разорившись кругом, отправился он в Петербург искать себе места и умер в номере гостиницы, не дождавшись никакого решения. Туман служил у него дворецким и ещё при жизни графа получил отпускную. Это был человек лет семидесяти, с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени: добродушно и величаво; разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, ласково шурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморкался и нюхал табак он тоже не торопясь, словно дело делал.

– Ну, что, Михайло Савельич, – начал я, – наловил рыбы?

– А вот извольте в плетушку заглянуть: двух окуньков залучил да головликов штук пять... Покажь, Стёпка.

Стёпушка протянул ко мне плетушку.

– Как ты поживаешь, Степан? – спросил я его.

– И... и... и... ни... ничего-о, батюшка, помаленьку, – отвечал Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочал.

– А Митрофан здоров?

– Здоров, ка... как же, батюшка.

Бедняк отвернулся.

– Да плохо что-то клюёт, – заговорил Туман, – жарко больно; рыба-то вся под кусты забила, спит... Надень-ко червяка, Стёпа. (Стёпушка достал червяка, положил на ладонь, хлопнул по нём два раза, надел на крючок, поплевал и подал Туману.) Спасибо, Стёпа... А вы, батюшка, – продолжал – обращаясь ко мне, – охотиться извольте?

– Как видишь.

– Так-с... А что это у вас пёсик аглицкий али фурлянский какой?

Старик любил при случае показать себя: дескать, и мы живали в свете!

– Не знаю, какой он породы, а хорош.

– Так-с... А с собаками извольте ездить?

– Своры две у меня есть.

Туман улыбнулся и покачал головой.

– Оно точно: иной до собак охотник, а иному их даром не нужно. Я так думаю, по простому моему разуму: собак больше для важности, так сказать, держать следует... И чтобы всё уж и было в порядке: и лошади чтоб были в порядке, и псари как следует, в порядке, и всё. Покойный граф – царство ему небесное! – охотником отродясь, признаться, не бывал, а собак держал и два раза в год выезжать изволил. Соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами и в трубу протрубят; их сиятельство выйти изволят, и коня их сиятельству подведут; их сиятельство сядут, а главный ловчий им ножки в стремя вденет, шапку с головы снимет и поводья в шапку подаст. Их сиятельство арапельником этак изволят щёлкнуть, а псари загого-чут, да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шёлковой сворке двух любимых барских собачек держит и этак наблюдает, знаете... И сидит-то он, стремянный-то, высоко, на казацком седле, краснощёкий такой, глазищами так и водит... Ну, и гости, разумеется, при этом случае бывают. И забава, и почёт соблюден... Ах, сорвался, азиятец! – прибавил он вдруг, дёрнув удочкой.

– А что, говорят, граф-таки пожил на своём веку? – спросил я.

Старик поплевал на червяка и закинул удочку.

– Вельможественный был человек, известно-с. К нему, бывало, первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Ну, да уж и угощать был мастер. Призовёт, бывало, меня: «Туман, говорит, мне к завтрашнему числу живых стерлядей требуется: прикажи достать, слышишь?» – «Слушаю, ваше сиятельство». Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладеколон первого сорта, табакерки, картины этакие большущие, из самого Парижа выписывал. Здаст банкет – господи, владыко живота моего! фейврики пойдут, катанья! Даже из пушек палят. Музыкантов одних сорок человек налицо состояло. Кампельмейстера из немцев держал, да зазнался больно немец; с господами за одним столом кушать захотел, так и велели их сиятельство прогнать его с богом: у меня и так, говорит, музыканты своё дело понимают. Известно: господская власть. Плясать пустятся – до зари пляшут, и всё больше лакосез-матрадура... Э... э... э... попался, брат! (Старик вытащил из воды небольшого окуня.) На-ко, Стёпа. – Барин был как следует барин, – продолжал старик, закинув опять удочку, – и душа была тоже добрая. Побьёт, бывало, тебя – смотришь, уж и позабыл. Одно: матресок держал. Ох, уж эти матрески, прости господи! Они-то его и разорили. И ведь всё больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им ещё? Так нет, подавай им что ни на есть самого дорогого в целой Европии! И то сказать: почему не дожить в своё удовольствие – дело господское... да разоряться-то не след. Особенно одна: Акулиной её называли; теперь она покойница, царство ей небесное! Девка была простая, ситовского десятского дочь, да такая злющая! По щекам, бывало, графа бьёт. Околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколат ей обронил... и не одному ему забрила лоб. Да... А всё-таки хорошее было времечко! – прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк.

– А барин-то, я вижу, у вас был строг? – начал я после небольшого молчания.

– Тогда это было во вкусе, батюшка, – возразил старик, качнув головой.

– Теперь уж этого не делается, – заметил я, не спуская с него глаз.

Он посмотрел на меня сбоку.

– Теперь, вестимо, лучше, – пробормотал он и далеко закинул удочку.

Мы сидели в тени; но и в тени было душно. Тяжёлый, знойный воздух словно замер; горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, потемневшего неба; прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где проросшее полынью, и хоть бы один колос пошевелился. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом; изредка под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собою лёгкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве; перепела кричали как бы нехотя; ястреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая крылами и распутив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг позади нас в овраге раздался шум: кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидел мужика лет пятидесяти, запylённого, в рубашке, в лаптях, с плетёной котомкой и армяком за плечами. Он подошёл к ключу, с жадностью напился и приподнялся.

– Э, Влас? – вскрикнул Туман, взглядевшись в него. – Здорово, брат. Откуда бог принёс?

– Здорово, Михайла Савельич, – проговорил мужик, подходя к нам, – издалеча.

– Где пропадал? – спросил его Туман.

– А в Москву ходил, к барину.

– Зачем?

– Просить его ходил.

– О чём просить?

– Да чтоб оброку сбавил аль на барщину посадил, переселил, что ли... Сын у меня умер, так мне одному теперь не справиться.

– Умер твой сын?

– Умер. Покойник, – прибавил мужик, помолчав, – у меня в Москве в извозчиках жил; за меня, признаться, и оброк взносил.

– Да разве вы теперь на оброке?

– На оброке.

– Что ж твой барин?

– Что барин? Прогнал меня! Говорит, как смеешь прямо ко мне идти: на то есть приказчик; ты, говорит, сперва приказчику обязан донести... да и куда я тебя переселю? Ты, говорит, сперва недоимку за себя взнеси. Осерчал вовсе.

– Ну, что ж, ты и пошёл назад?

– И пошёл. Хотел было справиться, не оставил ли покойник какого по себе добра, да толку не добился. Я хозяину-то его говорю: «Я, мол, Филиппов отец»; а он мне говорит: «А я почём знаю? Да и сын твой ничего, говорит, не оставил; ещё у меня в долгу». Ну, я и пошёл.

Мужик рассказывал нам всё это с усмешкой, словно о другом речь шла, но на маленькие и съёженные его глазки навёртывалась слезинка, губы его подёргивало.

– Что ж ты, теперь домой идёшь?

– А то куда? Известно, домой. Жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит.

– Да ты бы... того... – заговорил внезапно Стёпушка, смешался, замолчал и принялся копать в горшке.

– А к приказчику пойдёшь? – продолжал Туман, не без удивления взглянув на Стёпу.

– Зачем я к нему пойду?.. За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертью с год хворал, так и за себя оброку не взнёс... Да мне с полугория: взять-то с меня нечего... Уж, брат, как ты там ни хитри – шалишь: безответная моя голова! (Мужик рассмеялся.) Уж он там как ни мудри, Кинтильян-то Семёныч, а уж...

Влас опять засмеялся.

– Что ж? Это плохо, брат Влас, – с расстановкой произнёс Туман.

– А чем плохо? Не... (У Власа голос прервался.) Эка жара стоит, – продолжал он, утирая лицо рукавом.

– Кто ваш барин? – спросил я.

– Граф***, Валериан Петрович.

– Сын Петра Ильича?

– Петра Ильича сын, – отвечал Туман. – Пётр Ильич, покойник, Власову-то деревню ему при жизни уделил.

– Что, он здоров?

– Здоров, слава богу, – возразил Влас. – Красный такой стал, лицо словно обложилось.

– Вот, батюшка, – продолжал Туман, обращаясь ко мне, – добро бы под Москвой, а то здесь на оброк посадил.

– А почём с тягла?

– Девяносто пять рублёв с тягла, – пробормотал Влас.

– Ну, вот видите: а земли самая малость, только и есть что господский лес.

– Да и тот, говорят, продали, – заметил мужик.

– Ну, вот видите... Стёпа, дай-ка червяка... А, Стёпа? Что ты, заснул, что ли?

Стёпушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую... Пригорюнился мой бедный Влас...

Через полчаса мы разошлись.

Уездный лекарь

Однажды осенью, на возвратном пути с отъезжего поля, я простудился и занемог. К счастью, лихорадка застигла меня в уездном городе, в гостинице; я послал за доктором. Через полчаса явился уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый. Он прописал мне обычное потогонное, велел приставить горчичник, весьма ловко запустил к себе под обшлаг пятирублёвую бумажку, причём, однако, сухо кашлянул и глянул в сторону, и уже совсем было собрался отправиться восвояси, да как-то разговорился и остался. Жар меня томил; я предвидел бессонную ночь и рад был поболтать с добрым человеком. Подали чай. Пустился мой доктор в разговоры. Малый он был не глупый, выражался бойко и довольно забавно. Странные дела случаются на свете: с иным человеком и долго живёшь вместе, и в дружественных отношениях находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно, от души; с другим же едва познакомиться успеешь – глядь: либо ты ему, либо он тебе, словно на исповеди, всю подноготную и проболтал. Не знаю, чем я заслужил доверенность моего нового приятеля, – только он, ни с того ни с сего, как говорится, взял да и рассказал мне довольно замечательный случай; а я вот и довожу теперь его рассказ до сведения благосклонного читателя. Я постараюсь выразаться словами лекаря.

– Вы не изволите знать, – начал он расслабленным и дрожащим голосом (таково действие беспримесного берёзовского табаку), – вы не изволите знать здешнего судью, Мылова, Павла Лукича?.. Не знаете... Ну, всё равно. (Он откашлялся и протёр глаза.) Вот, изволите видеть, дело было этак, как бы вам сказать – не солгать, в Великий пост, в самую ростопель. Сижу я у него, у нашего судьи, и играю в преферанс. Судья у нас хороший человек и в преферанс играть охотник. Вдруг (мой лекарь часто употреблял слово вдруг) говорят мне: человек вас спрашивает. Я говорю: что ему надобно? Говорят, записку принёс – должно быть, от больного. Подай, говорю, записку. Так и есть: от больного... Ну, хорошо, – это, понимаете, наш хлеб... Да вот в чём дело: пишет ко мне помещица, вдова; говорит, дескать, дочь умирает, приезжайте, ради самого Господа Бога нашего, и лошади, дескать, за вами присланы. Ну, это ещё всё ничего... Да живёт-то она в двадцати верстах от города, а ночь на дворе, и дороги такие, что фа! Да и сама беднеющая, больше двух целковых ожидать тоже нельзя, и то ещё сумнительно, а разве холстом придётся попользоваться да крупичами какими-нибудь. Однако долг, вы понимаете, прежде всего: человек умирает. Передаю вдруг карты непременно члену Каллиопину и отправляюсь домой. Гляжу: стоит тележечка перед крыльцом; лошади крестьянские – пузатые-препузатые, шерсть на них – войлоко настоящее, и кучер, ради уваженья, без шапки сидит. Ну, думаю, видно, брат, господа-то твои не на золоте едят... Вы изволите смеяться, а я вам скажу: наш брат, бедный человек, всё в соображенье принимай... Коли кучер сидит князем, да шапки не ломает, да ещё посмеивается из-под бороды, да кнутиком шевелит – смело бей на две депозитки! А тут, вижу, дело-то не тем пахнет. Однако, думаю, делать нечего: долг прежде всего. Захватываю самонужнейшие лекарства и отправляюсь. Поверите ли, едва дотащился. Дорога адская: ручьи, снег, грязь, водомоины, а там вдруг плотину прорвало – беда! Однако приезжаю. Домик маленький, соломой крыт. В окнах свет: знать, ждут. Навстречу мне старушка, почтенная такая, в чепце. «Спасите, говорит, умирает». Я говорю: «Не извольте беспокоиться... Где больная?» – «Вот сюда пожалуйте». Смотрю: комнатка чистенькая, в углу лампада, на постеле девица лет двадцати, в беспомыслии. Жаром от неё так и пышет, дышит тяжело – горячка. Тут же другие две девицы, сёстры, – перепуганы, в слезах. «Вот, говорят, вчера была совершенно здорова и кушала с аппетитом; поутру сегодня жаловалась на голову, а к вечеру вдруг вот в каком положении...» Я опять-таки говорю: «Не извольте беспокоиться», – докторская, знаете, обязанность, – и приступил. Кровь ей пустил, горчичники поставил велел, микстуру прописал. Между тем я гляжу на неё, гляжу, знаете, – ну, ей-богу, не видал ещё такого лица... краса-

вица, одним словом! Жалость меня так и разбирает. Черты такие приятные, глаза... Вот, слава богу, успокоилась; пот выступил, словно опомнилась, кругом поглядела, улыбнулась, рукой по лицу провела... Сёстры к ней нагнулись, спрашивают: «Что с тобою?» – «Ничего», – говорит, да и отворотилась... Гляжу – заснула. Ну, говорю, теперь следует больную в покое оставить. Вот мы все на цыпочках и вышли вон; горничная одна осталась на всякий случай. А в гостиной уж самовар на столе, и ямайский тут же стоит: в нашем деле без этого нельзя. Подали мне чай, просят остаться ночевать... я согласился: куда теперь ехать! Старушка всё охает. «Чего вы? – говорю. – Будет жива, не извольте беспокоиться, а лучше отдохните-ка сами: второй час». – «Да вы меня прикажете разбудить, коли что случится?» – «Прикажу, прикажу». Старушка отправилась, и девицы также пошли к себе в комнату; мне постель в гостиной постлали. Вот я лёг, только не могу заснуть, – что за чудеса! Уж на что, кажется, намучился. Всё моя больная у меня с ума нейдёт. Наконец не вытерпел, вдруг встал; думаю, пойду посмотрю, что делает пациент? А спальня-то её с гостиной рядом. Ну, встал, растворил тихонько дверь, а сердце так и бьётся. Гляжу: горничная спит, рот раскрыла и храпит даже, бестия! а больная лицом ко мне лежит и руки разметала, бедняжка! Я подошёл... Как она вдруг раскроет глаза и уставится на меня!.. «Кто это? кто это?» Я сконфузился. «Не пугайтесь, говорю, сударыня: я доктор, пришёл посмотреть, как вы себя чувствуете». – «Вы доктор?» – «Доктор, доктор... Матушка ваша за мною в город посылали; мы вам кровь пустили, сударыня; теперь извольте почивать, а дня этак через два мы вас, даст бог, на ноги поставим». – «Ах, да, да, доктор, не дайте мне умереть... пожалуйста, пожалуйста». – «Что вы это, бог с вами!» А у неё опять жар, думаю я про себя. Пощупал пульс: точно, жар. Она посмотрела на меня, да как возьмёт меня вдруг за руку. «Я вам скажу, почему мне не хочется умереть, я вам скажу, я вам скажу... теперь мы одни; только вы, пожалуйста, никому... послушайте...» Я нагнулся; придвинула она губы к самому моему уху, волосами щёку мою трогает, – признаюсь, у меня самого кругом пошла голова, – и начала шептать... Ничего не понимаю... Ах, да это она бредит... Шептала, шептала, да так проворно и словно не по-русски, кончила, вздрогнула, уронила голову на подушку и пальцем мне погрозила. «Смотрите же, доктор, никому...» Кое-как я её успокоил, дал ей напиток, разбудил горничную и вышел.

Тут лекарь опять с ожесточением понюхал табаку и на мгновение оцепенел.

– Однако, – продолжал он, – на другой день больной, в противность моим ожиданиям, не полегчило. Я подумал, подумал и вдруг решился остаться, хотя меня другие пациенты ожидали... А вы знаете, этим negliжировать нельзя: практика от этого страдает. Но, во-первых, больная действительно находилась в отчаянии; а во-вторых, надо правду сказать, я сам чувствовал сильное к ней расположение. Притом же и всё семейство мне нравилось. Люди они были хоть и неимущие, но образованные, можно сказать, на редкость... Отец-то у них был человек учёный, сочинитель; умер, конечно, в бедности, но воспитание детям успел сообщить отличное; книг тоже много оставил. Потому ли, что хлопотал-то я усердно около больной, по другим ли каким-либо причинам, только меня, смею сказать, полюбили в доме, как родного... Между тем распутица сделалась страшная, все сообщения, так сказать, прекратились совершенно; даже лекарство с трудом из города доставлялось... Больная не поправлялась... День за день, день за день... Но вот-с... тут-с... (Лекарь помолчал.) Право, не знаю, как бы вам изложить-с... (Он снова понюхал табаку, крикнул и хлебнул глоток чаю.) Скажу вам без обидяков, больная моя... как бы это того... ну, полюбила, что ли, меня... или нет, не то чтобы полюбила... а, впрочем... право, как это, того-с... (Лекарь потупился и покраснел.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.